

147

ЮНЫЙ КОММУНИСТ



Сентябрь — Октябрь

1922

№ 15—16

МОСКВА

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА.

Рассказ.

I.

Бедно жила семья крющника Ивана Рулева. Сам работал летом на пристанях, а зимой, когда пароходы вставали, сапожничал и клал слабжанам печки. Мать ходила по людям, стирала белье, помы мыла. Каждый год рожала, ровно яйца несла—по одному да по два. Не живут долго детишки. Месяц, другой, много-много годик промастят, да и свернет головку под крыло.

Шутка сказать: родила, родила Феклушенька—счет потеряла, а в живых остались только двое погодка—Кирилка да Ольгунька. Дышит на чадушек мать—не надышится, а кости на них торчат во какие, хоть хомуты вешай, худющие оба, в чем только душа держится.

Да об сладких ли кусках думать, когда все на тебе рвется да расплзается. День ко дню, как волос к волосу, без кокурок, без варакушек, да без сухой корки. Об жареве да вареве и думать забыли. Какие добытки? Феклушка спурилась работавши, а прокормить своих галчат не в силах. А сам-то Иван—мужик горячий да шалой. И не сказать, чтоб запынцовский был, а так—пришей, пристегай: вступит в зенки, накатит окаянная сила и начнет рвать-метать. Про получку жена не спрашивай: корову продал и денги пропил. Короткий разговор, а как чуть замкнется мать о недохватках, сгребет ее Иван за жидкие волосенки да и давай куделить, всю в один синяк избобет. Кричать не могли: карактерный мужик, возьмет топором и самовар изрубит, и сундук, и кровать.

Забьется Феклушка с ребятишками куданибудь в темный угол на погребцу, аль на сеновал, молча горькие слезы глотает да гребешком выдранные волосы вычесывает.

Детки-то редные—одна кровь—улецают:

— Не плачь, мамка, мы те завтра на помойке эпимонных корок наберем... Приложишь к синякам—то, они и заживают...

А Рулев сидел где-нибудь в кабаке, в гудящем кругу пропойц и плакал скушными мужицкими слезами.

— Живем мы, братцы, как в потемках бродим... кругом ночь—черно... Зверь я—зверь, и сам люлости своей не радуюсь...

— Брось, Ваня!

— Жена без грозы, хуже козы.

— Бей! Не горшок, не разобьется...

II.

Частенько загребистая отцова лапа шерстила и Кирилку с Ольгунькой. На дочь еще меньше шишек валилось, была она девченка забитая, да тихонькая, ей бывало, хоть полы мой да пороги подтирай—гук не ответит.

А Кирилка не из того материалу высечен—кремеш мальчишка. Его, бывало, хоть в ступе толчи, в котле вари, да югнем жги—не сдает, из

волчат волченком, из зверей зверюшка—в отца характером пошел: жестокий.

Имейте в виду: хлестко любил его отец своей колючей, мужицкой любовью—видел в нем надежду свою. И, между прочим, бил чад походя, ух как бил, нестерпимым, сметным боем. Нашьется в дым, раскуражится.

— Корись мне!

Кирилка молчит и только, в глазах сверкающие молнии ненависти мечут арканы злобы.

Сгребет его отец и ну с плеча молотить и аяпником, и возжами.

— Корись, сукин сын!..

Посинеет от надрыву, почернеет как уголь Кирилка, а никогда ни одного стона не вырвется из глотки и никогда отец не дождется крику:—тятенька, прости Христа—ради!

Мать не подступись—ни-ни: разорвет. Из сил выбьется мужик, бросит бить, видит: сын покатился по полу—не дышит. На руки схватит, прижмет к своей могучей, богатырской груди, крестить начнет, целовать закрытые глаза, разбитые в кровь губы.

— Сынок, Кирилушка, надежда моя.

На руках, бережно потащит его в трактир водкой отпаивать.

— Кирилушка, сердечушко мое. Аль я те зашиб? Прости меня окаянного...

После таких боев дня два—три Кирилка глаз домой не казал. Жил в Кобыльем овраге или за слободкой в разгуженных кирпичных сараях. Медным пятаком сводил синяки! с рожи и, давясь обидой, грозил слободке.

— У-у!

Длинохвостым перебором пускал все дугательства, которые мог припомнить.

Не только отца, но и всех обитателей своего дома не любил Кирилка. За свою недолгую, двенадцати годовую жизнь со всех сторон только и знал щелчки, тычки да пинки. Одни ударяли шутя, чтобы подразнить, другие из озоретва, иные ют злости: чего не позабавиться с мальчишкой—безответный.

Кирилка росил в груди злобу и против злого отца, и против матери, распускавшей слюни и сопли и никогда не дававшей пятаков на змеи и на игру в орла. Точил Кирилка клыки и против кофенищика Горбила, который всякий раз больно стегал прутом, когда ктонибудь из ребятишек проходил мимо его голубятни; и на многих других Кирилка зол был...

III.

Подвал, в котором жили Рулевы, был темен и длинен, как гроб. Из угла старые иконы безразлично рассматривали неприглядную обстановку: окованный расписной жестью сундук, шкаф с посудой и большую кровать за ситцевым пологом. Субботний вечер теплым шумом заметал сло-

бодку. В подвал едва долетал гул улицы. Мать с Ольгунькой сидели на сундуке и разматывали мотушку пряжи. Кирилка лежал на печке. Ждали отца с получкой.

— Тятка мне денег припрет?—вскликнула Ольгунька глаза на мать.

— Много, много,—и мать украдкой тяжело вздохнула.

— Кирилка к Порфену за селедкой-серебрянкой сбегает, я за хлебом...

По двору покатила пьяная отцовская песня. Мать бросила работу и как глупенькая заметалась по подвалу, хватаясь, то за самовар, то за пустые ведра, то без нужды управляла головной платок.

— Мать пресвятая... Господи Сусе... Идет...

В сенях по ступенькам загремело ешибленное отцовским пинком пустое ведро, в дровянике раскудахтались усевшиеся на нашеств кур и, низко наклонившись, дабы лбом не высадить косяк, через порог шагнул отец.

За реко-ой на-а гаре-е-е
Лес зеле-еный-й шумит,
И как в том во лесу-у
Хуторочек стои-ит...

Одно ухо тятке кто-то расклевывая, рубашка до пупка разорвана, а онучки размотались и волочатся за ним.

— Мать, ужинать собирай... А где мой любимый сынок? А?..

Жена робко молвила:

— Не варила, Ваня, седи—не обессудь... Да и четвертак—Олька на живую ногу за селедкой слестает...

— Четвертак?... Четвертаки на дороге не валяются, я за них под мешки мыряю... То-то...

Вынул из-за пазухи тощий кисет и вытряхнул горсть медяков, которые со звоном погатились по полу.

Кирилка молча лежал на печке и горящими злобой глазами сверлил отца. Мать с Ольгунькой ползали по полу и шарили деньги.

Отец разул один стоптанный грязный лапоть и, увидав сына на печке, обрадовался.

— Сынушка, надежда моя... Слазь, целуй мою ногу.

Кирилка лежал и молчал...

Старик обшарил все карманы и извлек огрызок кренделя и обсаанный кусок сахара, оставшиеся от трактира.

— Кирюха, на гостинец... Тако допрежде целуй ногу, сделай родителю уваженье.

Мальчик оставался по-прежнему лежать и не сделал ни одного движения.

Такое непочтительное поведение сына возмутило старика. Метнул на печь лапоть и рявкнул:

— Слазь, паскуда!...

Ольгунька с плачем кинулась в дверь, в сени. А мать, борясь между желанием убежать от побоев и защитить сына, стояла у чела и шптала: «Господи, господи, помяни царя Давида и всю кротость его»...

За волосы одним рывком Иван стащил ешникку с печи. Мать завыла благим матом и грохнулась на пол, обняв ноги мужа.

— Ваня, Ваничка, ох... Убьешь ты сто... О-ох.

Иван, запнувшись за жену, упал... А Кирилка, метнувшись к шестку, схватил утюг, полный горячих углей, и дюкнул отца по башке. Взревел тот, векочил, следом за сыном выбежал в сени, на двор, но того уже и след простыл...

Воротился Иван в подвал и принялся неторопливо и без азарта бить, уже тыщу раз битую, безропотную жену...

А ночью, при свете мигающей измятой лампы, избитая в один сеняк, она сидела в изголовье мужа и присыпала картофельной мукой ожоги на бычьей, багровой шее.

Иван горячился:

— Сукин сын... Выкопил—выпоил на свою шею... В отца утюгом... А? Много-ли в нем мозгу? Спичка—соплей перешибить... Тоже характер спраеляст... Все твой—матушкины повадки...

— Глупый, он, несмышленый.

— Замолчь, сука!... Из одного ты с ним колени-кору... Изничтожу!...

IV.

На том же дворе, где проживали и Рулевы, в темной, бросовой бане ютилась артель пыльщиков.

Всю неделю жили они богласно, как говорится, душа в душу. А как подсаказывало воскресенье, аль праздник какой—пыльщики паряжались в новые цветные рубашки, выпивали—и в драку. Как клещи цепились. И перво на перво старались друг на дружке рубашки разорвать, а потом уж по рылам.

Так было и в это воскресенье. От поздней обедни зашли пыльщики в трактир «Ильдогадо», заказали пирожков, селянки, раздали по полбутылки. Рассолodelи, подопрели, приятные разговоры заплели. Разгорелись жаркие мужичьи души, выпитого мало показалось—клюнули еще.

Опосля того, злую драку устроили с кирпичами, с дрекольем. Пол улицы глядеть сбежались. Да появивсь на грех гроза слободки—околодочный Сутягин и разогнал всех.

Пыльщик Игнат Чекушка, разгоряченный дракой, бежал прочь от места побоища и, засунув палец в рот, шупал сколько выбито зубов. Отбежа с полквартала, пошел тише. Схватился за голову—картуза нового нет, пожалел: не велики деньги полтинник, а взять негде—не вошь: в чашнице не уцепишь.

Хотел Игнат ко двору потопать, да вспомнил темную баню и повернул на гору, где каждый праздник собирались играть в орда слободские мужички и ребята. Там Игнат встретил и Кирилку, одиноко сидевшего на бугре в стороне от людей.

— Кирюха, ты чего на стшибе, врожись штоль?

Мальчишка устало и безразлично взглянул на него.

— Думаю.

Пыльщик во всю глотку заржал, подоел и хлопнул того по плечу.

— Брось, паря, не забивай голову... Думай богатый над деньгами—нам думать не о чем.

Кирилка, как большой, матюкнулся и сплюнув отвернулся в сторону. Поглядел за Волгу на дремучие синие леса и с напускной беззаботностью сказал:

— С отцом разодрался.... Больше домой жить не пойду...

Игнат беспокойно завозился, равно его блохи закусапи.

— Та-ак.. В каку-же путину ударишься?

— Воровать пойду...

Замолчали оба и задумались...

Сзади гармонь бойко плела звонкий перебор, и кучка ребят охрипло и озорно орала:

Па мельнице на ветрянке
Окна бьют, летят стеклянки...

Трехрядка выговаривала:

— Тар-ри-рра-ри-рра-ри-рра-ри-рра... Тар-ри-рра-ри-рра-ри-рра-ри-рра-ри-ра-ра...

Мы дубровским не уважим,
Чирз забор ки-инжал покажем...

Пильщик дернул Кирилку за рукав.

— Воровство само последнее дело—и думать забудь.

— Да уж как ни как, а все лучше чем в куски идти, христарадничать.

— Не скажи, иль сена клоч, или вилы в бок.

Вперед Кирилку не страшили никакие опасности. Перед глазами были завидные картинки с сытой и пьяной жизнью слободских воров.

— Вон Афонька, Булыга, Мишка Горбыль по ширме ударяют ¹⁾, а живут как! «Распишутся» ²⁾ по разу и целу неделю гуляют... Одежка, обужка, девок табун...

— Есть чему завидовать... Дурачина ты, парнюга, простофиля... Летают соколы до время, попадут в сыскную, там всю требуху отобьют... Давай делом говорить... Айда завтра со мной на завод—работать приспособлю.

Мальчишка недоверчиво покоеился.

— Чего мне там делать? Чертей ковать? Не возьмут меня—молодой.

— Говорю, пристрою—пристрою. Подрядчику бутылку в зубы—и короткий разговор.

После некоторого раздумья и колебания Кирилка согласился. Ночевал эту ночь с пильщиком в бане, куда мать ему тихонько принесла две луквицы и ломоть хлеба.

V.

Жизнь в городе, как в огромном котле, закипала с окраин. Чуть светок—пол слободки на ногах. Суетливо катили свои тележки торговцы, на ходу крестясь на занимающийся восток. Грохотали ломовые телеги. Озабоченно бежали бабы на базар.

За слободкой горбились фабрики, запрокинув в серую муть утра хоботы труб. Разметавшиеся швабры дыма месили золу облаков, гася угольки последних звезд.

Призывно мычал гудок на одной из фабрик, ему откликался другой, третий, четвертый—сливался в один мощный рев, который потрясал и окончательно вслугивал дрему утра.

Ежась от мгливой свежести, спешила мастеровщина дневной смены. Перекликались, перешучивались, пореругивались не со зла.

В кучке пильщиков звенел жидкий голос Кирилки, рассказывавшего о драке прошлой недели соплебских ребят с ильинскими.

Рабочие густым потоком захлестывали заводские ворота. Как через сито, просеивались через табельную.

Проведенный во двор, Кирилка обалдел от непонятной суеты, лязга и грохота. Несмотря на ранний час, дрожал в бешеной огненной лихорадке. С грохотом катились вагонетки угля, открытые площадки обрезков железа, костылей, бракованных поделок и путаной проволоки. В широченных окнах мастерских дребезжали прокоптевшие стекла.

Посредине двора громоздились леса—строился новый заводской корпус. По зыбкому настилу Игнат провел парнишку на верхний ярус, где их встретил старик в суконной поддевке и облезлых лакированных. Игнат сдернул с головы обмусоленный картузишко и низко поклонился.

— Карп Федотыч, до вашей милости...

Подрядчик скользнул наметанным взглядом по чумазой Кирилкиной рожице, по ногам, проросшим грязью, и буркнул:

— На поденку? Сколько годов?

— Пятнадцать,—соврал мальчишка, накинув три.

И пильщик расплылся в жалостливой улыбке.

— Как, он, Карп Федотыч, сирота горькая, и родитель свонный—убимшись на войне, а мальчишка шустрый и почитатель, а мы стало-ть понятие имеем и в долгу не останемся...

Старик взял Кирилку за подбородок и, строго глядя в глаза, наговорил, ровно топором насек.

— Двугряш на день. Делов не бояться. Десятника слушаться. Обед час. Работа с 6 до 8. Заленишься—за хвост и в ман с известкой.

Игнат кланяясь упятился к сходящим, а подрядчик повел парнишку в другой конец яруса, где бойко и весело по утреннему здоровались—перекликались певучие топоры и залихватно перекликались ручники. Перешибая крики поденщиков, как гром небесный, гремела сочная, густая матерщина, которой горластые десятники подгоняли работающих.

В паре с татарченком Гарифуллой, Кирилку заставили таскать со двора железные пугтя по пятку за раз. Перекобенившись от тяжести, взбираясь на леса, по зыбким настилам сходней, мальчишка хорохорился.

— Гариф, давай по десятку таскать, а то чо токо мараться.

— Шайтан, дура голова,—сердился тот,—не лошади мы.

Привыкший по дому к тяжелой и грязной работе, Кирилка и тут до всякого дела был охоч и цепок. Горячая сила играла в нем, как в жеребенке. И с лесов, и по бесконечному заводскому двору, и с ношей готов был бежать рысью. Прознав дурцу, десятник послал его на неподсильную работу: просеивать песок.

С первачка дельце показалось нехитрым—почерпнул лопату и бросил на проволочную сетку. В сетке остаются ракушки, камни, галька, а чистый песок по широкому рукаву достаточного желоба беспрепятственным потоком льется в тачки. Задержись на минуту,—и, гнавшие деньгу сдельно, тачники режут в сто глоток.

¹⁾ Ширмач—карманник.

²⁾ Расписаться—вырезать карман.

— Э-э, давай, гони!
— Губы не развешивай!

В ряду с Кирилкой работают три мужика и мальчишек с десяток—все большие. Посмеиваются над Кирилкой.

— Гляди, парень, пупок-бы не лопнул.
— Пердячу жилу не надорви...
— А десятник ходит, похваливает
— Маленький, да хваткий....

— Часа два кой-как проработал Кирилка—чувет: брюхо болит и дуки гудят, ровно их вывернул кто. А после обеда отпросившись ушел опять к Гарифуллой прутья таскать и уже больше не пенился задором.

На глазах у погонял оба они сновали провожно и делали все, что нужно, но как только спускались вниз, то шли тяжелыми, вязкими шагами, приплеснувшись ногами к окнам мастерских, подолгу рассматривали гудящие машины и работающих за станками мастеров, около артели пильщиков падились на бревна и, не торопясь поплеывая, курили. Слушали как всхлипывали и сопели пилы, разговаривали об чемнибудь о своем—об слободке.

Притаскиваемые прутья моментально растаскивались десятками цепких рук, расстилались рядами и небольшими дощечками—ребрами цементных бочек пришивались к крыше. Потом настил заливался бетоном, засыпался песком, и все старательно утрамбовывалось одной дюжиной баб. После всего штукатуры ползали по бетону и своими лопаточками зализывали неровности и рябь.

Всякий раз Кирилка на минутку задерживался и любовался отделанной начисто крышей. Толкал в бок Гарифуллу.

— Во, клево... Завод—от может тыщи лет продышит, а нас будет помнить... Кто железо-то таскал? То-то...

Вечером, смертельно усталый, Кирилка шел по родной слободке. Ровно после побоев—ныло и болело все тело. В ушах стесала ругань десятника и крики трудового дня.

У Калачного переулка встретил ватагу сверстников. Шли на ночь в сады яблоки воровать. Позвали с собой и Кирилку. Тот отказался от заманчивого похода.

— Работать нанялся... Утром чуть свет на завод надо...

И почувствовал себя таким важным и нужным человеком, чего никогда не было...

VI.

В субботу поденники пошабашили в обед. Жаркой, гудящей толпой кипели перед конторой—сшибали получку. Большим приходилось по два—по три целковых за неделю, а бабам да мальчишкам того меньше.

— По губам мажут, мать иху так!
— Одна видимость.
— Слово, олово.

Вертелись в толпе десятники, и стелили лягонько-суконные шкуры.

— Терпеть—одно. Криком не возьмешь.
— Рядись—не торопись, а делай—не сердись. Поденники шумели:

— И туда, и сюда, как бабье коромысло.
— Не сули собаке пирога, брось краюху.

Мужики, получив заработанные гроши, старались прошмыгнуть незамеченные в ворота, где жены с ребятишками поджидали своих кормильцев-поильцев. Поднимался крик, плач. Оставив на мостовой избитых жен, мужья, ровно боясь опоздать, бежали на все стороны и газмыривались по шинкам.

Получив по рубль двадцать, Кирилка с Гарифом вместе со многими другими тоже остановились у казенки и вдвоем высосали полбутылки. Закусили и пошли домой. Ругали десятника Акима Степаныча, ругали каторжную надсадную работу и хозяина, который за 14 часов труда платит двухдневный.

Скоро от выпитой водки дружков развезло. В обнимку шли по своей улице, бузили и ломались больше чем надо. Без ветру их качало. Кирилке шибко хотелось встретить кого-нибудь из товарищей: от, черти, позавидовали бы. И еще хотелось окошки бить и страшно по всамделишнему ругаться.

Во дворе Кирилка подманил хозяйского пуделя и что из силы пиннул его. По отцовской привычке пинком распахнул дверь и ввалился в полутемный подвал...

— Здорово-ли живете...

Лежавший на кровати отец встал и почесываясь просипел пропитой глоткой.

— Кирилка, да ты ни как пьян, шучий сын...

Сын ударил об стол оставшимся серебряным рублем и шагнул к старику.

— Тятка, рабочий я теперь человек... Аль е устатку и выпить нельзя?...

Артем. Веселый.

